

18+

Волеслав Султанбаев

Хлеб и железо

Волеслав Султанбаев

Хлеб и железо

«Издательские решения»

Султанбаев В.

Хлеб и железо / В. Султанбаев — «Издательские решения»,

Один умирает с колосом в руке, другой кует броню за тысячи верст. Роман-эпопея о двадцати годах, расколовших Россию. От последнего честного базара при НЭПе до голодной степи 33-го, от пайки в триста граммов до первых домен Магнитки. Это сага о семье Гвоздевых, где отец закапывает хлеб в землю, чтобы выжить, а сын закаляет сталь, чтобы победить. «Хлеб и железо» — горькая исповедь поколения, которое строило будущее на собственных костях и училось прощать там, где, казалось, прощение невозможно

© Султанбаев В.

© Издательские решения

Содержание

ХЛЕБ И ЖЕЛЕЗО	6
ИСТОРИЧЕСКИЙ РОМАН	7
Пролог	8
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ХЛЕБ И ЖЕЛЕЗО (1921—1927)	9
Глава 1. Продналог вместо реквизиции	9
Глава 3. Гриша учится в школе ликбеза	11
Глава 4. Базар в Сенном	13
Глава 5. Ночной разговор у колодца	14
Глава 6. Андрей Стеклов получает назначение	16
Глава 7. Рита даёт Грише книгу	17
Конец ознакомительного фрагмента.	18

Хлеб и железо

Волеслав Султанбаев

© Волеслав Султанбаев, 2026

ISBN 978-5-0070-7049-2

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

ХЛЕБ И ЖЕЛЕЗО

СУЛТАНБАЕВ ВОЛЕСЛАВ ИСИЛЯЕВИЧ

ХЛЕБ И ЖЕЛЕЗО

ИСТОРИЧЕСКИЙ РОМАН

2026 год

Эпиграф

«Земля читать не умеет. Она хранит. И ждёт — дольше, чем любая власть на свете».

Пролог

В тот год хлеб пах не так, как всегда. Пахло гарью, потом и чем-то сладким — той страшной сладостью, какой пахнет мякина, когда в ней уже нет ни зерна, ни надежды. А железо — наоборот, пахло сырым, утренним, рассветом. Его варили из руды, но на самом деле — из живых жил и мёртвых матерей. Так и шли рядом два запаха: один — умирающий, другой — рождающийся. Хлеб и железо. Земля и сталь. Кровь и память.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ХЛЕБ И ЖЕЛЕЗО (1921—1927)

Глава 1. Продналог вместо реквизиции

Дорога была хуже, чем зимой. Не потому, что грязь — к грязи Игнат привык за три года гражданской, как к своей бороде. А потому, что лошадь больше не хрипела. Она шла молча, переставляла ноги механически, и в этом молчании было страшнее, чем в предсмертном хрипе. Из шести возов, ушедших в город по развёрстке, назад возвращался один. И то Игнат отбил его зубами. Буквально: когда продотрядчик в кожанке с наганом уже заносил топор над оглоблей, Игнат прыгнул. Укусил за руку. Удержал. Остальное — овёс, полушубок, бабкино кольцо — ушло тогда же, в январе. Теперь апрель. Снег стаял, обнажив не чернозём, а какую-то серую слизь. На возу лежало три мешка: два ржи, один овса. Третью того, что было. Но это было законно.

«Продналог», — выучил новое слово Игнат. Два пуда с десятины. Всё, что сверху — твоё. Продавай. Меняй. Живи. Он не верил. Первую неделю после декрета он ждал подвоха. Кажется, ночью придут те же кожанки и скажут: «Шутка». Но не приходили. Тогда Игнат запряг Малого — второго коня, которого успел схоронить в овражке, пока реквизиции не кончились.

Рынок в уездном городе Сенном был не рынком — гомонящим ульем без сотов. Бабы сидели прямо на земле, разложив перед собой на тряпицах: десяток яиц, кринку молока, пучок лука. Мужики — понаглее — стояли с телегами. Игнат приехал на рассвете. Не торговался сразу — стоял, смотрел. Учился заново. Вот высокий, в галифе и засаленной офицерской фуражке выменивает хромовые сапоги на полмешка муки. Вот бабка в трёх платках продаёт гусыню — требует не денег, а керосина. Вот двое, сцепившись как петухи, торгуются из-за охапки дров.

— Эй, хозяин! Рожь ведёшь?

Игнат повернулся. Перед ним стоял человек странный: в пиджаке поверх ватной телогрейки, с чистыми, не мужицкими руками, но с лицом, изъеденным окопной сыпью.

— Веду, — сказал Игнат. — Почему?

— Мануфактура. Английское сукно. Два аршина за пуд.

Игнат сплюнул. Английское сукно ему было не нужно — в нём и огород не полоть, и в церковь не пойти. Но он вдруг понял: это торг. Настоящий. Не приказ, не развёрстка, не «давай или мы возьмём». Ты говоришь «нет» — и тебе не сворачивают челюсть прикладом. Ты говоришь «дорого» — и уходишь к соседней телеге. Ощущение было как после долгой болезни, когда встаёшь с печи и чувствуешь под ногами не доски, а живую землю.

— Давай солью, — ответил Игнат. — Сукно мне в задницу. Соль. И иголок три штуки.

Человек усмехнулся, полез в мешок. Торг шёл час. Разошлись довольные. Домой Игнат вёз не только мешок соли. Он вёз запах большого базара — смесь дёгтя, пота, сала и свободы. Он ещё не знал, что эта свобода — как хлеб, который только что испекли: пахнет божественно, но остынет через полдня. А завтра, если не съешь, зачерствеет и превратится в камень.

Глава 2. Андрей Стеклов — после ЧК на партийной учёбе

Андрею было двадцать пять, а казалось — пятьдесят. Три года в губЧК — это не служба, это когда каждое утро проверяешь, не стучат ли зубы, и успокаиваешь себя, что стучат не от страха, а от утреннего холода. Он умел смотреть. Не видеть, а именно смотреть — так, чтобы человек под этим взглядом начинал говорить, выкладывать, признаваться. Умел молчать так, что пауза становилась пыткой. Умел ставить свою кружку на стол так, чтобы костяшки пальцев хрустнули — и это звучало как приговор. Но теперь его отозвали. Учиться.

— Товарищ Стеклов, — сказали ему в губкоме, — ты хороший оперативник. Но врага надо не только ловить. Его надо знать. Классово, теоретически.

И вот он сидит в аудитории бывшего купеческого особняка на улице Карла Либкнехта. Пахнет махоркой, дешевым клеем для плакатов и страхом — тем особым страхом, который бывает только в партийных школах, когда преподаватель вызывает тебя к доске. Сегодня читает Самойлов — маленький, лысый, с голосом, похожим на треск счётов.

— Кулак, — говорит Самойлов, не глядя в конспект, — это сельский предприниматель, эксплуатирующий наёмный труд. Торговец. Ростовщик. Практически — твой сосед, у которого три коровы и работник-подёнщик. Или твой отец, если у него двадцать десятин. Или твой брат, который нанял плотника.

В аудитории тишина. У Андрея дёргается щека.

— А если этот кулак — мой старый знакомый? Если я с ним в бабки играл?

Самойлов улыбается той улыбкой, которая хуже крика:

— Тем хуже для твоего детства, Стеклов. Классовый враг не перестаёт быть врагом оттого, что ты знаешь его имя. Колеблются середняки — вот кто наша боль. Их надо отжать от кулака, как губку. А кулака — изолировать. Классово. Физически. Морально.

Вечером Андрей пишет письмо в Ключи. Строчку: «Васька, ты это того, с плотником не балуй. Наймутся — не потом отмоешься». Потом сжигает. Потом пишет снова: «Васька, продавай сеялку, записывайся в бедноту». Тоже не идёт. В третьем варианте всего три слова: «Брат, беги. В город». Отправляет. Смотрит в окно на замёрзший Липяж — грязный, промёрзший, пропахший кожей и революцией. И понимает: обучение идёт успешно. Он больше не смотрит на крестьян как на людей. Он смотрит на них как на категории. Классы. Прослойки. Элементы. Это страшно — но это правильно. Ему так сказали. А привычка верить тем, кто говорит тебе «правильно», у Андрея выработалась за три года в ЧК. И сломать её куда труднее, чем позвоночник на допросе.

Глава 3. Гриша учится в школе ликбеза

Грише пятнадцать, он стрижен под горшок, в латаной рубахе и ботинках, подаренных уполномоченным по продналогу (отец месяц на него горбатился — дрова колол). И сейчас он сидит за партой в бывшей поповской сторожке, которая отныне называется «Центр ликвидации неграмотности» или просто «ликбез». Учительница — Зинаида Петровна, худая, злая, с пенсне и вечной кашкой в горле — пытается вбить в головы мужицких детей то, что им никогда не пригодится.

— Корова, — диктует она. — Пишем: к-о-р-о-в-а. Через букву «о». Напоминаю: в слове «корова» три ошибки — первая, третья и пятая буквы.

Гриша не понимает, почему у коровы три ошибки. Корова одна. Стоит в их дворе, рыжая, с бельмом на глазу. Она может дать ведро молока, а может лягнуть копытом — в лоб, так, что искры из глаз. Это Гриша понимает. А Зинаидины «о» — нет. Но он ходит. Не из-за грамоты. Из-за неё. Рита. Дочь местного ветфельдшера, городская, в чистом платье и чулках без заплат. Она сидит на первой парте и пишет так красиво, что буквы похожи на птиц. Гриша на неё смотрит не отрываясь. Глаза — цвета конского щавеля. Коса — чёрная, тугая, на конце белый бант, как облако.

Однажды он подходит после урока. Говорит:

— Рита, дай списать.

Она поднимает брови:

— Что списать?

— Ну, всё. Жизнь.

Она смеётся. Он ныряет в этот смех как в прорубь — сначала холодно, потом жарко до глубины.

В сентябре в школу присылают нового — председателя сельсовета Шпыня, вернувшегося с флота. Шпынь матёрый, с якорями на рукавах и манере человека, который привык, что его слушаются не потому, что он прав, а потому, что у него наган в планшете.

— Задача, — говорит Шпынь, обращаясь к ученикам на общей линейке. — К первому ноября изба-читальня должна быть готова. Стекла вставили, печку сложили, плакаты повесили. Кто отлынивает — тот против советской власти.

Гриша поднимает руку.

— А у меня отец велел картошку копать. Кто его картошку окопает? Вы?

Шпынь поворачивается медленно, как башенный пулемёт.

— Как фамилия?

— Гвоздев.

— Отец — единоличник? Гвоздев Игнат? Который на базаре торгует? Торгаш? Нэпман?

Гриша ещё не знает, что слово «нэпман» — как клеймо. Что оно прилипает, впитывается в кожу, и потом его не отскребешь даже пемзой.

— Мой отец не торгаш. Он крестьянин, — отвечает Гриша, но голос уже дрожит.

— Крестьянин? — Шпынь улыбается невесело, щербато. Один зуб во рту блестит золотом, и непонятно: то ли вставной, то ли свой, но запёкшийся налёт на деснах делает эту улыбку похожей на оскал. — Крестьяне, товарищи, бывают разные. Есть бедняки — наша опора. А есть вот такие, — он кивает на Гришу, — сынки кулацкие. Середняки колеблющиеся. Им бы свою картошку, а революция — подождёт.

В классе смешки. Рита смотрит на Гришу — и в её взгляде он читает не сочувствие. Стыд. Словно он теперь испачкан.

Вечером Гриша приходит домой, кидает сумку в угол. Игнат — отец — как раз замешивает тесто. Квашня пахнет одновременно сытно и тревожно — как война, которая ещё не началась, но уже доносится из-за бугра.

— Пап, — говорит Гриша. — А мы кулаки?

Игнат перестаёт месить. Смотрит на сына долго. Потом отвечает вопросом на вопрос:

— А у тебя руки в крови?

— Нет.

— А у нас есть наёмный батрак?

— Нет, мы сами.

— А ты зерно по дешёвке у соседей скупаешь, чтобы потом дороже продать?

— Нет.

— Значит, не кулаки. Кулаки — те, кто человека жмёт. А мы — хлеб жём. Запомни: пока руки в тесте, а не в чужом поту — ты человек.

Гриша запоминает. Но знает: мир устроен сложнее, чем отцова квашня. И что скоро его спросят снова. И ответ «нет» уже не спасёт.

Глава 4. Базар в Сенном

Базар в Сенном в двадцать четвёртом году — это Вавилон, только без башен, зато с вшами и золотым червонцем. Он начинается в три утра, когда первые обозы въезжают со стороны Выгоничей. Он живёт пиком в десять, когда мужики уже пропустили по две косушки, бабы переругались из-за места, а цены — как лапша на ветру, прыгают вверх-вниз. И затихает к пяти вечера, оставляя после себя навоз, кожуру семечек и чувство, что ты либо наторговал на зиму, либо прогорел до нитки.

Сегодня центральная сделка заключена между Кузьмой Огузковым из деревни Чёрный Верх и армянином Саркисом, который торгует с лотка на базарной площади. Кузьма привёз рожь — пять пудов, отборную, чистую, без спорыньи. Ему нужно на зиму — мануфактуру и керосин. Саркис раскладывает на своём лотке чудеса: ситец с крапинками, шерсть жёсткую, как у живого барана, шёлк — настоящий, ленинградский, который, если поднести к свету, переливается как нефть на луже.

— Смотри, — Саркис подносит кусок ситца к носу Кузьмы. — Рубаха для жены. Она будет радоваться. Ты будешь радоваться. Все будут радоваться.

— Покажи тот, с цветочками, — Кузьма мнётся, но глаз уже загорелся.

Саркис качает головой:

— Этот — дорогой. За него — три пуда. Или два пуда и пять рублей.

— Три пуда — это полторы моей ржи! Ты охренел, армян?

Саркис не обижается. На базаре слово «охренел» — это не оскорбление, это торговая категория. Он убирает ткань с цветочками. Достает другую — поскромнее, серую, в мелкий горох.

— Тогда этот. Два пуда. Горох — это модно. В Париже все ходят в горох.

— Какой Париж? У нас в Чёрном Верху корова в огород залезла, а он про Париж!

Сходятся за полтора пуда. Саркис добавляет сверху иголок — двадцать штук, немецких, в вошёной бумаге. Кузьма — полкринки молока, которую успел взять с собой, пока жена не заметила.

Рядом — лоток Якова-спекулянта, которого все знают, но никто не трогает, потому что он платит участковому лично и аккуратно. У Якова есть то, чего нет ни у кого: американская тушь для ресниц, патефон с иглой, сахар-рафинад в коробке — белый, как первый снег, и запретный, как мечта.

— Девушкам? — Яков подмигивает молодому счетоводу из кооператива. — Для клуба? Бери.

Счетовод покупает сахар не для клуба. Сахар он отнесёт своей Зое, которая работает в библиотеке, и она, может быть, в субботу согласится танцевать с ним фокстрот. Запретный. Буржуазный. Сладкий.

И над всем этим — гомон. Спор. Крик. Плач ребёнка, потерявшегося между лотками. Брань — густую, забористую, такую, что на фронтах не слышали. Лошадиное ржание. И запах — главный запах НЭПа. Запах не хлеба и не железа. Запах свободной сделки. Он похож на запах свежего хлеба, но с примесью гнильцы. Потому что рынок — живой организм. А всё живое когда-нибудь начинает пахнуть тленом. Особенно если его сверху накрывают железом.

Глава 5. Ночной разговор у колодца

Лето выдалось сухое. Хлеб встал стеной, но колос вышел пустой — одна мякина. Игнат возвращался с поля затемно, нёс в горсти несколько зёрен, мял их пальцами и смотрел, как они рассыпаются трухой.

— Не уродило, — сказал он жене Аксинье за ужином. — Сдадим продналог — и пустой амбар. К весне придётся перебиваться с желудя на лебеду.

Аксинья помалкивала. Она знала: муж не любит жаловаться. Если сказал «пустой амбар» — значит, хуже некуда. Она налила ему шей — жидких, с одной картофелиной на всю миску — и поставила на стол.

— Может, продадим Малого? — спросила она осторожно.

Игнат поперхнулся.

— Коня? Ты в уме, баба? На ком я пахать буду? На тебе?

— А корову?

— Корова — это молоко. Молоко — это дети. Детей тоже продадим?

Аксинья замолчала. Только тряпка в её руках заходила быстрее — вытирала уже чистое место, просто от злости.

Ночью, когда Гриша и младшая Нюрка уснули, Игнат вышел к колодцу. Не за водой — дышать. Луна стояла круглая, желтая, как блин на постной сковороде. Игнат сел на сруб, достал кисет, свернул сигарку. Курить не хотелось — руки привыкли.

С соседнего двора пришёл Кузьма Огузков — тот самый, что на базаре мануфактуру менял. Он жил через два дома, но пришёл будто издалека: шаги тяжёлые, голова опущена.

— Не спится, Игнат?

— Не спится.

Кузьма присел рядом. Помолчали. В деревне молчать умеют лучше, чем говорить.

— Слышал, — сказал Кузьма, — в волости новых приезжих видели. Из города. Бумаги возят, списки составляют. Говорят, перепись хозяйств будет.

— Ну и пусть, — Игнат выпустил дым. — У меня скрывать нечего.

— А у меня есть, — Кузьма понизил голос. — Я пуды с базара не все домой везу. Часть у Саркиса оставляю. На чёрный день. Если перепись найдёт — скажут, спекулянт.

Игнат посмотрел на соседа. Раньше он считал Кузьму баламутом, торгашом, мужиком без корня. А теперь увидел в нём родное: тот же страх. Не перед голодом даже — перед бумажкой. Перед словом. Перед тем, как тебя назовут.

— Продай излишки, — посоветовал Игнат. — Оставь ровно на налог и на хлеб. Остальное — в землю закопай, керосином залей, сожги. Жизнь дороже.

Кузьма крикнул.

— Ты, Игнат, умный мужик. А умных первыми и раскулачивают. Сам знаешь.

И ушёл в темноту, даже не попрощавшись.

Игнат докурил сигарку, затушил о сруб. Взглянул на небо — звёзды висели низко, будто на проволоке. И подумалось ему: раньше человек боялся Бога, потом — помещика, потом — продотряда. А теперь боится соседа. Потому что сосед придёт с бумажкой и скажет: «Ты кулак». И никто не спросит, сколько у тебя десятин. Спросят, сколько у тебя зависти у соседа.

Из записок приезжего корреспондента губернской газеты «Красный пахарь», 1926 год:

«Спрашиваю старика на завалинке: «Дед, а кто в вашей деревне кулак?» Дед смотрит на меня, как на дурака. Потом тычет клюкой в дом соседа: «А вот Михайла. У него две лошади. А у меня — одна». Сосед Михайла, узнав, о чём речь, выбегает с вилами: «Какой я кулак? У меня земля — восемь десятин, а у Петра — десять! Вот Петра и спрашивай!» А Петр, услышав, уже

лезет через плетень: «Михайла, а ты не ври! У тебя сеялка есть, у меня — нет! Ты кулак, а я — середняк!»

Так и не понял я, кулак ли кто. Мужики одно знают точно: кулак — это не тот, кто много работает. Кулак — это тот, у кого чуть больше, чем у меня. А если у меня самого чуть больше, чем у соседа — сосед кулак. И так по кругу, пока вся деревня друг на друга не наябедничает».

Глава 6. Андрей Стеклов получает назначение

Андрея отозвали из партшколы раньше срока. Приказ пришёл утром, когда он читал «Бедноту» и запивал кашу пустым чаем. Сказано было коротко: «Тов. Стеклову выехать в распоряжение уездного земельного отдела. Место службы — село Сенное и прилегающие волости. Задача — подготовка почвы к коллективизации».

Он собрал вещи за пятнадцать минут: смена белья, маузер (память о ЧК, не сдал, не потребовали), пачка газет, мыло. На прощание зашёл к Самойлову.

— Ну что, Андрей, — сказал преподаватель, не поднимая головы от бумаг. — Иди. Применяй знания. Только помни: враг не дремлет. Тот, кто сегодня торгует на базаре, завтра будет жечь амбары. Тот, кто сегодня копит зерно, завтра будет стрелять. Не давай поблажек. Ни брату. Ни другу детства. Ни себе.

— Я понял, товарищ Самойлов.

— Иди.

В дороге Андрей думал о Ваське. Письмо с тремя словами брат получил, но ответил: «Не поеду. Здесь земля. Здесь корни. И плотник — он свой, деревенский. Не нанимал я его, он сам пришёл помочь, за спасибо». Андрей тогда выругался, но ответа не отправил. Что писать? «Ты уже преступник, сам не зная того»?

В Сенное он въехал на подводе в сумерках. Улицы были знакомыми — он здесь бывал по делам ЧК, но теперь всё казалось другим. Дома — ниже, люди — мельче, воздух — гуще. Или это он сам изменился?

На краю деревни его встретила старуха с клюкой. Посмотрела, перекрестилась мелко-мелко.

— Кого Бог дал? — спросила.

— Бог тут ни при чём, бабка. Коммунист я.

— Ох, знаю, знаю... А может, и бог тот же будет, если людей судить возьмёшься?

Андрей хотел ответить резко, но не смог. Старуха смотрела не зло, а жалостливо — так смотрят на того, кто идёт по краю пропасти и не видит этого.

Он поселился в пустующей избе на окраине. Бывшая лавка — полки ещё остались. Достал маузер, проверил магазин. Не для угрозы. Для спокойствия.

И написал в блокноте первое: «Население относится к коллективизации настороженно. Колеблющиеся элементы — большинство. Кулацкая прослойка — 7—10% (требуется уточнения). Методы работы — агитация, разъяснение, при необходимости — демонстративные меры».

Слово «демонстративные» он обвел. Знал, что оно значит. Знал с ЧК.

Глава 7. Рита даёт Грише книгу

Весной в школе ликбеза открыли кружок «Друг коллективизации». Рита стала его председателем. Гриша на собрания не ходил — отца жалел. Но каждый вечер провожал Риту до её дома.

В тот вечер они шли медленно — по грязи, через огороды, мимо сарая, где старый дед Егор правил сбрую. Рита молчала, Гриша тоже. Потом она остановилась.

— Гриш, я принесла тебе почитать.

Она достала из сумки тонкую брошюру в серой обложке. Называлась она: «О работе в деревне. Методы выявления и изоляции кулацких хозяйств».

— Зачем мне это? — спросил Гриша, не беря книгу.

— Затем, что ты должен знать. Твой отец — хороший человек, я понимаю. Но он — тормоз. Он не хочет в колхоз. Он не хочет отдавать сеялку в общий двор. Он думает только о своей земле. А мы должны думать о всей стране.

— Кто это — «мы»?

— Комсомол. Будущее. Я.

Гриша взял брошюру. Листы были грубыми, пахли типографской краской. Он не открыл её — просто держал в руке.

— Рита, — сказал он. — А ты любишь меня?

Она покраснела — до самых корней своих чёрных волос.

— При чём здесь это?

— При том. Если любишь — зачем даёшь книгу, как судья? Ты судишь меня или ты со мной?

Рита отвернулась. Помолчала. Когда заговорила, голос дрожал — но не от нежности, а от злости.

— Я не могу выбирать между делом революции и твоим отцом. Революция важнее. Если ты этого не понимаешь — мы не по пути.

Она пошла дальше одна. Гриша остался стоять посреди улицы с брошюрой в руке. Ему казалось, что книга жётся.

Он пришёл домой поздно. Игнат уже спал. Гриша сел за стол, разжёг лучину и начал читать. Читал долго. Про «классово чуждые элементы», про «методы хозяйственного удушения», про «социально опасных лиц».

В одном месте было написано: «Кулак — тот, кто не хочет работать в коллективе и предпочитает частную собственность».

Гриша закрыл книгу. Посмотрел на спящего отца — усталого, с мозолистыми руками, с провалившимися щеками. Вспомнил, как отец привёз соль, как смеялся после первого торга, как замешивал тесто и говорил про человеческое достоинство.

«Не кулак ты, пап, — прошептал Гриша. — Но книжка говорит — кулак. И Рита говорит — кулак. И Шпынь говорит — кулак. А может, их правда сильнее? И тогда мы все...»

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.